

Казакевич Эммануил

При свете дня

Эммануил Генрихович КАЗАКЕВИЧ

ПРИ СВЕТЕ ДНЯ

1

Наступал час рассвета. Утренняя серость постепенно, но с каждой минутой все напористее и быстрее вползала во все щели, проникала в темные подворотни, слизывала густые тени с порогов и стен. Прямоугольные пространства заполнились еще неопределенным туманом, вовсе не напоминавшим о солнце, но этот туман понемногу светлел, белел, розовел и вдруг, неожиданно задрожав, зажегся желтыми солнечными лучами на оконных стеклах верхних этажей.

Это повлекло за собой целый ряд новых звуков и картин. Ранний храбрец автомобиль зафыркал в ближнем дворе. Донесся протяжный гудок отдаленного завода. Захлопали форточки. Зашаркали шаги. Дворничиха в белом фартуке громким и сладким зевком встречала в воротах встающее солнце. Продрогший за ночь милиционер гляделся в маленькое зеркальце и поправлял русую челку - при свете утра он оказался девушкой. С трамвайных рельсов с тихим шелестом убегали разгоняемые первым трамваем желтые листья.

Человек шел по мостовой, глядя по сторонам с любопытством, выдающим приезжего. Он был одет в солдатскую шинель, и за спиной у него висел вещевой мешок - старый, побуревший от пота и дождей. Весь вид этого человека напоминал о недавно закончившейся войне, и только кепка на голове - обычная рабочая кепка, по-видимому, совсем новая, - была единственной данью наступившему мирному времени. Она и выглядела не к месту, и лицо человека - скуластое, голубоглазое, с добрыми, словно припухшими губами - из-за этой кепки многое теряло в своей солдатской выразительности.

Человек внимательно и чуть удивленно приглядывался к оживающим московским улицам. Большая машина, поливающая мостовую, прошла мимо, обдав его водяной пылью. Он улыбнулся и приветливо помахал рукой шоферу. В этом движении чувствовалась свобода - однако не развязность городского жителя, а скорее независимость исходившего тысячу дорог солдата.

Даже в том, что он шел не по тротуару, а по мостовой, даже и в этом, пожалуй, сказывалась солдатская закваска, привычка к хождению строем, к ощущению себя не единицей, а частью колонны, для которой тротуар - слишком тесное место.

Хотя человек был несомненно нездешний - его мятая шинель свидетельствовала о сне на вагонной полке - и, возможно, даже приехал в Москву впервые, но в нем не чувствовалось никакой растерянности, военная привычка к перемене мест выбила из него, как и из большинства бывших солдат, следы провинциальности, деревенщины, скованности движений. Возле перекрестков он останавливался, читал название улицы и шел дальше уверенным и ровным шагом. Было похоже, что кто-то подробно растолковал ему путь следования, и он - из спортивного, быть может, интереса - не задавал ни милиционерам, ни

ранним прохожим никаких вопросов.

Единственное, что с несомненностью выдавало его принадлежность к деревне, была приветливость: он здоровался с ремонтными рабочими, уже собиравшимися к своим "объектам", вежливым и веселым: "Здравствуйте".

В этом слове и, главное, в том, как оно произносилось, можно было распознать и просто естественную приветливость русского деревенского человека, и особое уважение к труду рабочих, подновляющих не какие-нибудь дома, а дома столицы, Москвы - предмета гордости и мечтаний миллионов сердец в различных дальних углах обширнейшего из государств.

Так он прошел всю Кировскую улицу и вышел на площадь Дзержинского. Тут, на этой площади, к которой сходилось множество широких и узких улиц, можно было бы и спросить, как идти дальше, но, постояв с минуту в задумчивости, человек перешел на противоположный тротуар, перерезал наискосок еще улицу, поплутал в каких-то переулках и очутился на другой площади. Здесь он остановился, соображая, как идти дальше, но внезапно заметил в очертаниях площади и в простирившейся вдоль нее высокой красной стене что-то торжественное и необыкновенно знакомое. Затем он увидел Мавзолей Ленина и тогда понял, где находится. Он весь похолодел, ибо, зная, что Красная площадь существует, и в подробностях зная все, что на ней расположено, он тем не менее был огорошен тем, что все здесь на самом деле именно такое, каким оно представлено в кинофильмах и на тысячах виденных им рисунков, фотографий, картин и газетных заставок. Больше всего удивило его, быть может, то обстоятельство, что он просто вошел на эту площадь, точно так же как и на любую другую. В своей гордости за Москву и в особенности за ее святая святых - Красную площадь - он, пожалуй, предпочел бы, чтобы сюда входили по-особому, как-то совсем не так. Чтобы сюда билеты продавали, что ли.

- Так вот куда ты залетел, Андрей Слепцов, - сказал он себе вполголоса и вынул правую руку из кармана, словно для отдания чести. Левая же рука осталась в кармане, и это было бы странно для солдата, если бы рука существовала. Но руки левой не было, а был только рукав.

Андрей Слепцов постоял на Красной площади добрых минут двадцать, наконец повернул направо. У Охотного ряда он впервые обратился к постовому милиционеру, и тот растолковал ему, куда идти дальше. А идти ему следовало до площади Пушкина, чтобы затем, повернув по бульвару, дойти до нужного переулка.

Однако было слишком рано стучаться в дом. Поэтому Слепцов, не заворачивая в переулок, сел на бульваре на скамейку. Здесь он вскоре незаметно задремал.

Когда он проснулся, было уже часов девять. Все кругом изменилось до неузнаваемости. Пустынные гулкие улицы, широко и свободно лежавшие под нежаркими утренними лучами солнца, превратились в шумливый и пестрый человеческий улей. Гул и топот, жужжание и цоканье, человеческие голоса и короткие сигналы автомобильных сирен заполнили все на этой огромной ярмарке, стремительной, пританцовывающей, то и дело вскрикивающей, всхрапывающей от удовольствия, от любования собственной огромностью, собственным многоголосием и разнообразием. Это все было настолько неожиданно, что у Слепцова зарябило в глазах. В состоянии радостной растерянности прошел он сквозь строй нянек с детьми с бульвара в переулок, а там - к тому двору, который был ему нужен.

То был обычный московский двор среди многоэтажных стен большого кирпичного дома. Но и здесь люди любили цветы и траву. Посредине двора был устроен маленький садик с клумбами, на которых уже не было цветов, однако оставалась зеленая травка. Этой травке Слепцов подмигнул, как доброму знакомому и союзнику среди кирпича, стекла и асфальта.

Окинув взглядом бесконечное множество окон и балконов, Слепцов вдруг заволновался. Он

застегнул шинель на все крючки и направился к дому, к одному из подъездов, возле которого на низкой скамеечке сидела старушка в белом платочке, в очках и вязала чулок. Нехитрое и древнее ее занятие живо напомнило Слепцову деревню, и он поэтому обратился к ней запросто:

- Скажи-ка, бабушка, где тут Нечаева проживает?

Старушка подняла на него строгие глаза, но медлила с ответом, разглядывая пришельца довольно бесцеремонно. Слепцов слегка улыбнулся и осведомился:

- Не оглохла, бабушка?

Бабушка была готова рассердиться на него за непочтительный вопрос, но тут заметила пустой рукав и, сразу же погрузившись и подобрав, сказала:

- Иди, голубчик, вон туда, напротив, в шестой подъезд, и подымись на третий этаж.

Слепцов медленно пошел туда, куда ему указали, и поднялся по лестнице. На третьем этаже он перевел дух, проверил крючки на шинели и позвонил. Дверь отворилась.

2

На пороге стоял бледный мальчик лет двенадцати. Он молча ждал, что скажет пришедший. Пришедший же стоял тоже молча и только смотрел на мальчика; лицо солдата приобрело беспомощно нежное выражение.

- Стало быть, я Андрей Слепцов, - сказал он наконец. Его голос заметно дрожал. - Вот какое дело.

Он подождал, пристально вглядываясь в мальчика и, видимо, ожидая, что имя и фамилия о чем-то ему напомнят. Но мальчик молчал все так же выжидательно и отчужденно. Тогда Слепцов, слегка обидевшись, отрывисто спросил:

- Тебя Юрой зовут?

- Да, - сказал мальчик, удивившись.

- Да, Юрой, - уже веселее заговорил Слепцов. - Я тебя узнал. Еще бы не узнать... А ты вот меня не узнал. А не узнал ты меня потому, что сроду не видел. - Он засмеялся коротким взволнованным смешком и продолжал: - Что же ты так плохо гостей принимаешь, даже в дом не позовешь? А я, можно сказать, почти неделю все еду да еду. Издалека, значит. Из Сибири. Слышал про город Красноярск? Ну вот, я из-под самого Красноярска к тебе в гости и пожаловал, Юрий Витальевич...

Мальчик неуверенно сказал:

- Пройдите, пожалуйста.

Он отступил в глубь коридора и отворил другую дверь. Слепцов пошел вслед за ним, и они очутились в небольшой квадратной комнате, служившей, видимо, столовой и в то же время детской. Тут помещались буфет с посудой, стол, небольшая кровать и этажерка с книжками, школьными тетрадками и глобусом. На покрытом клеенкой столе стоял стакан чаю, лежал кусок хлеба, желтел на блюде кусочек масла. Очевидно, звонок Слепцова оторвал мальчика от завтрака. Слепцов окинул взглядом стол и сказал:

- Да ты, оказывается, завтракал. Садись, продолжай, не стесняйся. А где мама?

- Мама ушла на службу.

- Ольга Петровна, значит, на службу ушла? - переспросил Слепцов, с видимым удовольствием называя мать мальчика по имени-отчеству и как бы лишний раз доказывая этим свою полную осведомленность в отношении людей, к которым приехал. - Так, так... Ну что ж, придется подождать. - Он говорил все это многозначительно, напуская на себя некоторую таинственность, что никак не шло к его открытому и ласковому лицу. Поставив свой вещевой мешок возле двери, а поверх мешка бросив шинель и кепку, он уселся на стул. Затем он окинул взглядом этажерку с книгами, глобус, глаза его посуровели, и он спросил: - Как учимся?

Мальчик ответил несколько уклончиво:

- Ничего. - Его тонкое лицо на мгновение затуманилось, и он, пересилив себя, добавил: - Две тройки. А все остальные пятерки.

- Понятно, - сказал Слепцов. Он внимательно посмотрел на мальчика и решил после короткого размышления не упрекать его за тройки. Он только повторил: - Понятно. - И добавил: - Твой отец был человек ученый, и ты должен быть тоже ученым человеком, культурным, одним словом сказать советским.

Мальчик слабо улыбнулся поучению солдата - в этой улыбке сказалась некая доля столичного высокомерия по отношению к простоватому ходу мыслей провинциала. Слепцову, во всяком случае, эта улыбка не понравилась, и, выказав несомненную тонкость в понимании затаенных мыслей, он недовольно и сурово посмотрел мальчику в глаза, отчего Юра смутился и принялся за завтрак.

Пока он, сидя в неловкой позе, медленно поддвигал к себе чай и хлеб, Слепцов, расположившись в углу в мягком кресле - здесь было уютно и полутемно, - глядел на него так внимательно, словно изучал каждое его движение, и искал в повороте головы, в линии губ и подбородка и вообще во всей повадке мальчика знакомые черты. И, находя их во всем, а главное, во взгляде, несколько рассеянном и печальном, удовлетворенно покачивал головой. Его только удивляла напряженность в позе и во всем поведении мальчика. Он, разумеется, не мог знать, о чем думает Юра в это время. А Юра думал о том, что вот нужно пригласить приехавшего издали человека к столу, а на столе всего в обрез, и сахару нет, есть только маленькая конфетка, которой и на стакан чаю не хватит, - все в той скудной норме, какую получали по карточкам. И мальчик, сидя в неловкой позе - ему было стыдно, что он не зовет человека к столу, и в то же время жалко поделить с ним свой убогий завтрак, ибо он сам был очень голоден, - размышлял о том, как быть. Наконец он, вздохнув потихоньку и посмотрев на хлеб и масло долгим прощальным взглядом, поднял на Слепцова серьезные глаза и сказал:

- Садитесь, пожалуйста. Мы позавтракаем вместе.

Приняв не без внутренней борьбы такое решение, Юра явственно повеселел, у него будто камень с души свалился. И, заметив в нем эту перемену, Слепцов тоже оживился, встал с места и воскликнул:

- Хотя я и не очень голодный, но не откажусь, раз ты меня приглашаешь! Только уж не обижайся, я и свои харчи к твоим прибавлю.

Он подошел к вещмешку, ловко развязал его единственной рукой и стал молча выкладывать из него на стол свертки, один другого аппетитнее и жирнее. На столе понемногу образовалась горка вкуснейшей еды, среди которой были связки копченой и вяленой рыбы и полосы жареного мяса.

Мальчик смотрел на все это и не верил своим глазам. Потребовалось трехкратное

приглашение Слепцова, чтобы Юра принялся за обильную пищу, ненормированную, жирную, острую и притом еще пахнущую дальними дикими пространствами, где рыбу не покупают в магазине, а ловят в больших реках, а мясо достают с помощью ружья и ножа. Юра опьянел от еды и, как все пьяные, стал болтлив. За время завтрака он успел поведать Слепцову немало своих горестей и радостей, в том числе обиду на учительницу географии, несправедливо ставившую отметки, подробности своей ссоры с приятелем, неким Федей, историю разных находок и пропаж и многочасовых прогулок в одиночестве или стайей, с ленивым глазением на уличную жизнь большого города, с сованием носа во все уличные перепалки и во все раскрытые окна нижних этажей.

Слепцов слушал внимательно, иногда покачивая головой, как бы в подтверждение своего внимания или в знак согласия. Потом он спросил:

- Кем ты желаешь быть? - И тоном все сильного человека, от которого зависит все, добавил: - Ты не тушуйся, скажи.

Может быть, человек, выложивший на стол такую гору вкусной еды, и впрямь показался Юре все сильным. Так или иначе, он откровенно признался в том, что хочет быть летчиком-истребителем. Слепцов вошел к нему в такое доверие, что Юра чуть было не высказал ему свою самую главную и самую постоянную мечту - обычную, хотя и тщательно скрываемую, лелеемую в дальних тайниках души сладкую мечту всех мальчиков, много болевших и физически слабых, но в то же время (может быть, именно поэтому) очень самолюбивых: быть силачом, притом самым сильным силачом на свете. И вовсе не ради почестей и славы. Он был бы готов согласиться на то, чтобы никто на свете не знал о его силе - до поры до времени, до первой увиденной им несправедливости: большие обижают маленького, сильные - слабого, злые доброго, богатые - бедного, многие - одного.

Глядя исподлобья на Слепцова и отмечая про себя нежность слепцовского взгляда, Юра тем не менее не решился рассказать сибиряку о своей мечте, понимая, в сущности, что это детская мечта, слишком прекрасная, чтобы быть осуществимой. При этом он с практичной и печальной мудростью ребенка, редко в своей жизни евшего досыта, подумал, что, если бы у него каждый день был такой завтрак, как сегодня, он и в самом деле мог бы стать силачом. В связи с этой мыслью ему пришло в голову, что он слишком увлекся чужой едой; и, вместо того чтобы потянуться за очередным куском рыбы, он, помедлив минуту, откинулся на спинку стула.

- В школу, что ли, пора? - спросил Слепцов.

- Нет, я во второй смене, - ответил мальчик. - Мне нужно уроки доделать.

- Правильно, - согласился Слепцов. - Я тебе мешать не буду. Ты делай, а я здесь в уголке посижу.

Однако сел он не сразу. Он медленно обошел всю комнату, изучая предметы обстановки внимательными глазами. Увидев на стене два женских портрета, он спросил, кто эти женщины, а узнав, что одна - знаменитая ученая Мария Кюри, а другая - знаменитая артистка Комиссаржевская, поглядел на них с уважением. Затем он полистал настенный календарь, повертел глобус и наконец уселся в то же мягкое кресло в уголке. Здесь он искусно закрутил одной рукой с помощью колена сигарку махорки, но подумал, что в комнате курить, вероятно, не полагается и следовало бы выйти покурить на улицу или хотя бы в коридор. Но было лень вставать. Юра медленно и старательно писал. Стенные часы с резьбой приятно и долго прозвенели. Слепцова опять стало клонить в сон. Он боролся со сном, так как хотел проводить Юру в школу, но с каждой минутой все больше сказывалась усталость пяти дней путешествия в бесплацкартном, напиханном людьми вагоне, и Слепцов наконец уснул - второй раз за утро.

Слепцову приснилось, что он сидит в усталом соломенном окопе и курит махорку, а рядом с ним дремлет капитан Нечаев, командир батальона. Слепцов внимательно смотрит на бледное, усталое лицо Нечаева, на его мокрую, набухшую шинель. Длинные ресницы Нечаева опущены, они влажны от дождя, нежно перепутаны и приклеены к подглазьям. Слепцов должен разбудить капитана, потому что обязан сообщить нечто очень важное. Он мучительно вспоминает, что именно он обязан сообщить, и не может. Но вдруг он слышит рядом с собой детский плач, и тогда он почему-то вспоминает, что должен был сказать капитану Нечаеву. Он должен был ему сказать, что исполнил его предсмертное завещание - приехал в Москву, к его семье, и передаст ей все, что обещал передать. И тут Слепцов во сне вдруг спохватывается, что Нечаев-то сидит рядом живой и, следовательно, не мог еще сказать ему предсмертных слов. И Слепцову становится страшно, и он хочет разбудить Нечаева, но боится, что если он его разбудит, то Нечаев сразу умрет, раз он уж и так умер. Во сне Слепцов понимает, что все это какая-то "мура", несусветица, и ему приходит в голову, что, может быть, Нечаев не умер, а Слепцову только снилось, что комбат умер и, умирая, просил побывать в Москве у его семьи; и даже то, что война кончилась, Слепцову тоже только приснилось здесь, в окопе. И Слепцов опять чувствует всю запутанность ситуации, но никак не может из нее выпутаться. Но что действительно кажется совсем реальным, то это плач ребенка рядом. Слепцов по этому поводу удивляется - как здесь очутился ребенок, может быть, где-то поблизости скрываются беженцы, бездомные. Слепцов глядит поверх бруствера и видит невдалеке маленькое городишко, пестрый, с желтыми и розовыми домиками, явно нерусский - вероятно, один из тех венгерских городков с труднопроизносимыми названиями, которых Слепцов немало навидался, перед тем как вражеская разрывная пуля раздробила ему руку.

В этот миг ресницы Нечаева вздрагивают и с трудом отлепляются от лица, Нечаев открывает свои большие глаза и взглядывает на Слепцова взглядом неторопливым, всевидящим и как бы очень успокоенным и довольным.

Слепцов, похолодев, проснулся. Детский плач наяву оказался еще громче, чем во сне. Но Слепцов еще некоторое время находился в обаянии сна, и, когда наконец очнулся окончательно и понял, где находится, его сердце жарко сжалось от никогда с такой силой не испытанного чувства счастья.

Юры уже не было. Не было на столе и его тетрадей. Сибирская снедь, аккуратно сложенная на газете и укрытая другой газетой, была придвинута к тому углу стола, который был ближе других к Слепцову. Плач младенца доносился из соседней комнаты, а вскоре появился и сам виновник этого шума. То была маленькая девочка, лежавшая на больших красных руках молодой грудастой женщины с растрепанными соломенными волосами. Женщина держала девочку перед собой на ладонях полувытянутых рук - одна ладонь под головкой, другая под попкой - и слегка покачивала, голенькую, полненькую, кричащую и с остервенением совавшую себе в рот маленькие кулачки с похожими на лепестки крохотными пальцами.

Продолжая покачивать младенца на полувытянутых руках, женщина певуче спросила:

- Издалека, что ли?

- Издалека, - ответил Слепцов и спросил, в свою очередь: - Чего она у вас надрывается?

- Не пойму. Уж и так и этак...

- Может, есть хочет?

- Не-е... Недавно ела. Срыгнула даже. Може, животик болит, кто ее знает. Бессловесная ведь.

Слепцов подошел к младенцу. Девочка, уловив своими блуждающими глазами незнакомое лицо, широко улыбнулась беззубым ртом, обнажив десны чистейшего розового цвета. Трудно было даже поверить, что за мгновение до того она плакала так надрывно, словно ее маленькое сердце до края переполнилось всеми горестями и несправедливостями нашей окаянной планеты. Слегка возгордясь своим успехом и преисполняясь по этой причине особой нежности к девочке, Слепцов почмокал губами, пощелкал языком, повращал глазами - одним словом, энергично пустил в ход все небогатые двигательные возможности человеческого лица; он был готов пожалеть, что у него нет длинных ушей, чтобы ими похлопать. Младенец продолжал улыбаться с бессознательно-покровительственной миной, словно знал, что все эти ухищрения делаются ради него; и казалось - он улыбается уже через силу, только с целью поощрения столь больших стараний.

- Пойдешь ко мне? - спросил Слепцов. - А? Пойдешь? Иди ко мне. Не заплачешь?

Он осторожно просунул под младенца свою единственную руку и ловко уложил его на руке, головкой к своему плечу. Девочка лежала на руке, как в колыбели, и внимательно смотрела на лицо Слепцова, которое теперь видела в ином ракурсе, что, может быть, показалось ей особенно забавным. Нянька между тем, обрадованная неожиданным умиротворением девочки, засуетилась, выбежала, принесла пеленки и одеяльца, закутала девочку, снова уложила ее на слепцовскую руку и сказала удивленно и фамильярно:

- Тебя бы няней. Ишь как смеется!

- У меня на детей приворотное слово есть, - деловито объяснил Слепцов.

Нянька широко раскрыла глаза и села на стул.

- Ну? Врешь.

- Вот тебе и ну. Погляди мне в глаза. Огоньки видишь?

Нянька с некоторым почтением посмотрела Слепцову в зрачки, увидела в них светлые отсветы окон и неуверенно сказала:

- Вижу будто.

- В них-то все и дело. А теперь я скажу слово, а ты повтори, и если запомнишь, то у тебя дите всегда будет спокойное и довольное. Слушай. Секешфехервар.

Он повторил еще дважды, делая при этом таинственное лицо:

- Секешфехервар. Секешфехервар.

И сам улыбнулся: это название венгерского города было испытанием для всего Третьего Украинского фронта.

Она уже поняла, что он шутит, однако шутки его, притворно серьезная мина и ласковые морщинки сбоку глаз понравились ей, развеселили ее. Она впервые посмотрела на него не как на странного посетителя, неизвестно по какому делу приехавшего, а как на приятного и видного собой мужчину. И она перешла с "ты" на "вы", стала жеманно выговаривать слова, неестественно похохатывать, глядеть на него уже не прямо, а искоса, с тем примитивным, но, в сущности, милым кокетством, какое было в ходу в ее деревне, и все хотела, но не решалась спросить, есть ли у него семья.

Вдруг она всплеснула руками:

- Ой, горе мое! Очередь не пропустила ли в булочной?! Вам все сеше, хеше, а тут хлеба

может не хватить. Я мигом. Не скучайте.

Она искоса бросила на него последний зазывный взгляд и убежала. Хлопнула дверь, другая, и стало очень тихо, даже тише, чем в деревне. В деревне лает собака, квохчет курица, мычит корова, а здесь было беззвучно-тихо, как может быть тихо в пустынной городской квартире на малопроезжем переулке днем, о ту пору, когда дети в школах, а старшие - на службе.

Слепцов, оставшись в одиночестве с девочкой на руках, или, вернее сказать, на руке, устроился удобнее в кресле. Ему хотелось курить, но он не стал тревожить задремавшего младенца и только приговаривал:

- Сейчас твоя мамка вернется, хлебца принесет из очереди свеженького, молочка тебе даст, тогда мы закурим, выйдем, значит, в коридор, культурно, чтобы на тебя дымом не пыхать.

Он запел вполголоса диковатую колыбельную, созданную каким-то человеконенавистником для запугивания маленьких детей:

Анадысь на дворе

Чтой-то грохотало,

А как вышел я на двор

Оно перестало...

У-у-у, у-у-у...

Девочка задремала, затем проснулась, заплакала было, но, опять увидев в поле своего зрения то же лицо, пристально и упорно стала в него вглядываться, и при этом ее взгляд выражал такой, казалось, ясный и глубокий ум, такую, казалось, сосредоточенную мысль, что Слепцову, растроганному и пораженному, на мгновение представилось, что она все знает о нем и видит его насквозь. И лишь когда она снова беззубо и розово улыбнулась, он как бы опомнился от своей минутной иллюзии и сказал умиленно:

- Девочка. Девочка. Маленькая девочка.

И он подумал, что маленькие девочки приятнее и нежнее мальчиков, - у него-то самого было двое мальчишек, и он относился к ним с нарочитой грубоватостью, чтобы "не смягчили зря". А с девочкой он был бы гораздо ласковее. Он не мог бы быть с ней грубым, думал он теперь.

"Мамка" все не приходила. Девочка лежала спокойно, с открытыми глазами.

- Какая ты будешь? - спросил Слепцов. - Скажи, пожалуйста. - Он вскинул вверх глаза, посмотрел на портреты знаменитых женщин и, сделав движение подбородком к строгому лицу Марии Кюри, спросил: - Вот такая, как эта? - Он сделал такое же движение подбородком по направлению ко второму портрету и опять спросил: - Или же вот как та?.. Скажи. Чего же ты не говоришь? Не тушуйся, девочка. Маленькая девочка.

Но вот брякнул замок, звякнула цепочка, стукнула дверь, застучали каблучки.

- Вот и мамка твоя, - сказал Слепцов и посмотрел на дверь, заранее ухмыляясь.

Но когда дверь открылась, вошла совсем не "мамка", а она, Ольга Петровна Нечаева, - рослая, светловолосая, несколько полная, стремительная, будто летящая. Слепцов сразу узнал ее по десятку фотографий, бывших всегда при комбате, а теперь лежавших у Слепцова в нагрудном кармане. Не имея возможности встать - рука была занята, кресло было низкое и глубокое, - Слепцов только смотрел на нее и ничего не мог сказать дрожащими губами.



Ольга Петровна остолбенела при виде девочки на руках у чужого человека, но именно то, что незнакомец держал малютку на руках (девочка пускала пузыри и хватала его за подбородок), немного успокоило Ольгу Петровну: вор вряд ли стал бы нянчить младенца в чужой квартире. Ольга Петровна решила, что незнакомец - односельчанин или приятель Паши. Однако он был человеком с улицы и поэтому никак не годился в няньки по санитарно-гигиеническим соображениям. Поэтому она подбежала к нему, довольно резким движением отняла у него ребенка и недовольно спросила:

- Где Паша?

Слепцов встал с кресла. Он стоял очень сконфуженный, как будто в чем-то виноватый.

- Мамка ее? - переспросил он. - Она в очереди. Хлеб получает... Здравствуйте, Ольга Петровна. Я Андрей Слепцов. Вы, может, знаете... Может, слышали... верней, читали мою фамилию...

- Как читала? Где читала? - недоуменно спросила Ольга Петровна, тем временем быстро закутав ребенка и положив его на подушку, которую ради этого взяла с изголовья Юриной постели и кинула на кровать плашмя.

- Я по поручению моего командира. Виталия Николаевича Нечаева... прибыл из Сибири. Как обещал ему. Хотя поздненько, но прибыл. Раньше никак не мог, уж извините, долго после ранения лечился...

Ольга Петровна замерла над ребенком, потом выпрямилась, обернулась и медленно пошла к Слепцову. Он тоже сделал шаг ей навстречу. В глазах у нее был испуг - вероятно, оттого, что солдат говорил о ее муже, как о живом, как о где-то существующем. Потом она вдруг непривычно для себя засуетилась, заволновалась.

- Садитесь, садитесь, - сказала она. - Да, да... Превосходно... Я сейчас... Минуточку.

Она вышла будто бы по хозяйству, а на самом деле для того, чтобы постоять в одиночестве, отдышаться, прийти в себя. В то же время она, несмотря на свое внезапное волнение, продолжала механически делать свои обыденные дела и находила в этом некое успокоение. Она сняла через голову и повесила в шкаф на плечики свое платье и вместо него надела, сняв с соседних плечиков, пестрый халат с короткими рукавами. Затем она пошла в кухню, зажгла керосинку и поставила на нее эмалированный чайник. Сменила заварку в фаянсовом чайнике. Сложила в миску грязные стаканы для мытья.

Понемногу она успокоилась. Когда в коридоре позвонил телефон, она пошла к нему уже своей обычной, быстрой, будто летящей походкой, несколько преувеличенно самоуверенной, и в трубку говорила уже с полным самообладанием, с обыкновенными своими чуть насмешливыми в конце фразы интонациями, придающими ее разговору своеобразную прелесть.

- Да, да. Кормлю ребенка, - сказала она. - Нельзя ли наш разговор отложить на завтра? У меня тут гости. Значит, сегодня меня в институте не ждите, хорошо? До завтра.

Положив трубку, она постояла с минуту неподвижно и с досадой отметила, что ей трудно вернуться обратно в столовую, к однорукому солдату. Она упрямо мотнула подбородком и пошла в столовую.

- Садитесь, - сказала она с оттенком приказа в голосе, застав Слепцова на прежнем месте посреди комнаты. Ее взгляд упал на мясо и рыбу, по-прежнему лежавшие на краешке стола, и

она, улыбнувшись без нужды, а только так, для того чтобы имитировать непринужденный разговор, добавила: - Вижу, вы тут уже успели позавтракать.

- Да, мы тут вместе с Юрой, - пробормотал Слепцов сконфуженно, и в его глазах пробежало выражение жалости, почему-то кольнувшее Ольгу Петровну, как упрек.

Она сказала деловито:

- Значит, вы говорите, что Виталий Николаевич...

Лицо Слепцова сразу стало просветленным и торжественным.

- Да, - сказал он. - Он скончался на моих руках и просил... поручил мне... я ему дал слово. И вот я прибыл.

Ольга Петровна быстро закивала головой. Она с ужасом чувствовала, как ею опять овладевает непривычная для нее суетливость и разорванность сознания. Она с беспокойством покосилась на девочку. Та лежала молча, глядя в потолок с сосредоточенным, задумчивым видом. От девочки Ольга Петровна быстро перевела взгляд на солдата - солдат был точно так же сосредоточен и задумчив. Ольга Петровна села на тот стул, на котором утром сидел Юра, - между девочкой и солдатом, - положила на стол крест-накрест свои белые полные руки с золотистыми волосиками и сказала:

- Я вас слушаю.

Слепцов медленно заговорил:

- Товарищ Нечаев умер на моих руках, в полном сознании. Мы не успели его довести до санитарной части. Мы пробовали, но дорога была плохая, в ухабах, и ему очень было больно от тряски на повозке, так что пришлось нести его на носилках. А ранения у него были тяжелые. Весь батальон был в большом горе, его у нас все любили, и солдаты и офицера. Командир дивизии тоже, чуть что, как важное задание - сразу капитан Нечаев... К слову сказать, после его смерти уже, - а умер он вы, наверное, знаете, второго мая тысяча девятьсот сорок четвертого года, в праздник, денька через два пришел приказ о присвоении ему звания майора. Так что если у вас в бумагах не указано про это, то надо сказать в военкомате - может, пенсия будет поболее... Любили его за честность, за душевность... Да вы-то знаете, не чужой ему человек... И в бою он был спокойный. Может, был бы жив, если бы не честность его да храбрость: его не раз хотели у нас забрать - то в армию, в отдел кадров, то в оперативный отдел в корпус - человек образованный и к тому ж боевой командир. Но он не хотел, отказывался. Еще за неделю до последнего боя командир дивизии при мне его звал в свой штаб. "Ты интеллигент, - говорит он ему, - ты совестливый, всегда хочешь примером солдату быть, лезешь вперед, как безумный... Убьют тебя. Переходи ко мне". А товарищ Нечаев засмеялся и говорит: "Интеллигентов так редко хвалят! За это одно я здесь останусь". А командир дивизии ворчит: "Разве я тебя хвалю? Я тебя ругаю, а ты думаешь - хвалю..." Оба они были интересные, как сойдутся - такое наговорят.

В дверях показалось круглое лицо Паши. Увидев хозяйку, она оробела как бы та не накинулась на нее за то, что бросила ребенка на чужого дядю и развела уже после получения хлеба тары-бары с соседскими няньками. Но хозяйка ничего не сказала, даже не обернулась к ней. Более того, не желая, чтобы Паша с ней заговорила, она еще ближе подвинулась к солдату и несколько раз настойчиво повторила:

- Продолжайте, продолжайте.

Паша бесшумно прошмыгнула мимо нее к кровати, взяла девочку и унесла ее из комнаты, облегченно вздохнув на пороге.

- Продолжайте, - повторила Ольга Петровна, но когда Слепцов снова заговорил, она вдруг встала с места и сказала: - Подождите. Я отлучусь на несколько минут по хозяйству.

5

Пока Ольга Петровна была в отсутствии, перед глазами Слепцова проходили, словно наяву, картины военной жизни. Он почти забыл, где находится. Вокруг него клубился туман фронтовых дорог, шли с потушенными фарами вереницы грузовиков, вились среди сырых опадков хвои неглубокие траншеи, саперные лопатки ударяли по дерну, рассекая тонкие корни трав, дождь стучал по капюшонам плащ-палаток; дождь и ведро, зной и стужа, ночевки в лесу на елочном лапнике и в позолоченных залах княжеских дворцов - все это сменяло одно другое. Когда Ольга Петровна вошла и уселась на прежнем месте, Слепцов заговорил свободно и плавно, забыв про свое смущение, словно перед привычными слушателями - такими же, как он инвалидами, - в колхозной чайной.

Между прочим, Ольга Петровна была уже не в халате, а в черном закрытом платье, но солдат не заметил этого переодевания, а если и заметил, то не уловил его нарочитости.

- Повстречались мы с Виталием Николаевичем в первый раз, - начал Слепцов свой рассказ, - еще в сорок первом году, летом. Прибыл я тогда из тыла с пополнением в действующую армию. Бросили нас под Москву в контрнаступление - только не в то большое, зимнее, а раньше, когда немец был еще в силе, а мы только изредка огрызались, как могли. И вот тогда собрали много сил на одном участке и бросили против немца... Идем мы, значит, из штаба дивизии в полк. Перед этим дожди прошли большие, дорога вся размытая, ноги не идут, а на душе тревога: почти все молодые, необстрелянные, на западе зарево и стрельба такая, что душа уходит в пятки, на дороге - побитые кони, много побитых коней, и ямы от бомб. Однако идем мы, а рядом с нами топает по грязи офицер, старший лейтенант не наш, а попутчик, - курит все время, шинелишка худая, сапоги кирзовые.

Из чего это кирза делается - это никому не известно; вещь хотя и неказистая, а прочная, держится долго, зато уж если поползет на нитки, то расползается быстро. А у этого старшего лейтенанта голенища крепко поползли... Лицо у него худое, темное, и в очках он.

И вот мы идем и замечаем - не ест он ничего, а потом и курить перестал. Мы привал делаем - и он садится отдыхать. Мы, значит, едим, а он - того, не ест. И стало нам его жалко, особенно когда заметили мы, что он не курит, а курильщик, видно, отчаянный.

И вот старший из нас, Черепанов, пожилой человек, добровolec, бывший уральский партизан, подходит к старшему лейтенанту и так вежливо приглашает: пойдете, дескать, покушайте с нами. Старший лейтенант к нам подсел, поел, махорки мы ему дали, и дальше пошел он с нами как наш человек. А в полку он исчез. Когда же мы пришли в батальон, видим - он уже там, и он и есть наш командир батальона. Прислали же его из другого полка, где он командовал ротой и так хорошо воевал, что получил повышение на комбата, а на другой день ему орден Красного Знамени вручили.

Обрадовался он мне и Черепанову, как родным: главное, говорит, за махорку спасибо. "Это был поступок!" - говорил он нам (он так иногда говорил, и мы все тоже приучились так говорить, и это стало как высшая похвала в нашем батальоне).

Товарищ Нечаев взял меня к себе телефонистом, а Черепанова - связным. Жизнь пошла такая - ни сна, ни отдыха, дни и ночи перемешались. Продвинулись мы на шесть километров, освободили четыре деревеньки. А через три дня командира полка не то ранило, не то убило, и товарища Нечаева даром что всего лишь старший лейтенант - назначают командиром полка. Я дежурил у телефона и получил этот приказ и передал комбату, и он хотел уточнить, как и что, но тут порвалась связь. И товарищ Нечаев сдал батальон одному лейтенанту, а меня и Черепанова взял с собой, и вот приходим мы в полк.

Приходим мы в полк и спускаемся в землянку. А в землянке лежит майор - командир полка, раненый, и бредит он на полный голос, отдает в бреду команду и разные приказания, и весь горит, а врачей и санитаров нет, никак их не дозовешься. Я охрип тогда, вызывая кого-нибудь из врачей по телефону. Товарищ Нечаев перевязал командира полка, как мог, и все сидит возле него, мокрый платок ему кладет на лоб, пробует узнать про полк, да про его силы, да про его задачу, а тот ничего не видит и не слышит, а штаб полка вместе со своим начальником и со всеми картами и документами отрезан противником и сидит обороняется где-то в деревне, за три километра.

И вот налаживаем мы связь с двумя батальонами, и только третий батальон никак не отзывается, и велит мне товарищ Нечаев восстановить с ним связь. Вылезаю я из землянки на свет божий и вижу: кругом все разбито и раскромсано, и даже деревья и те разбитые. Беру я провод в руки и бегу, пригнувшись, по проводу к роще и вдруг вижу - в роще останавливаются машины, и оттуда выходят генералы и офицера. И один из них подходит ко мне и спрашивает, где здесь НП полка, и велит мне проводить его туда. Откозырял я, как сумел, и веду его обратно, к нашей землянке. И думаю, что веду генерала, а потом смекаю, что звезда-то у него на петлицах больно велика. И весь шалею: никак, Маршал Советского Союза). Первый и последний раз видел я тогда маршала за всю войну.

Вбегаю я в землянку, а маршал и с ним один генерал и командир дивизии - полковник идут за мной. А наш старший лейтенант, товарищ Нечаев, кричит в это время в телефон и смотрит в щель на наши боевые порядки. А обернувшись, он замечает маршала и командира дивизии, которого знал раньше, и рапортует, причем не очень громко, по-граждански больше, чем по-военному. Я даже подумал, что он не понял, кто перед ним. А маршалу это, должно быть, не понравилось, и посмотрел он на товарища Нечаева так пронзительно, что все испугались. Был он очень крут, и его боялись все командиры. И вот он спрашивает: "Почему не выполнили задачу дня? Сколько сил у противника на фронте вашего полка?" - "Не знаю", - отвечает товарищ Нечаев и хочет объяснить в чем дело, и показывает на раненого командира полка, который тяжело стонет в углу на соломе, но маршал не слушает, вдруг краснеет, начинает кричать и угрожать расстрелом и снова спрашивает: "Почему высотка, про которую докладывали, что она взята, у немцев? Очки втираешь, сукин сын?"

И тогда наш командир полка старший лейтенант Нечаев вдруг говорит: "Вы на меня не кричите".

И так он это спокойно сказал! У меня сердце зашло. А маршал - тот задрожал от этих слов, и все думали, что сейчас он старшего лейтенанта застрелит, и впрямь его руки стали по воздуху шарить, как будто ищут чего-то. Но старший лейтенант так спокойно смотрел ему в глаза и сам был такой ясный, спокойный, что маршал, видно, хоть и сердился, но все-таки уважал человека за то, что тот его не испугался. А командир дивизии, полковник, человек большой храбрости в бою, но перед начальством известный трус, молчал, хотя обязан был разъяснить в чем дело.

Тогда-то наш Черепанов, тот самый старик доброволец, уральский партизан, вдруг в тишине негромко говорит: "Да он же командиром полка всего полчаса..."

Маршал повернулся, но, увидев, что это солдат, да еще старик, ничего не сказал, только наклонил свою большую голову и опять к товарищу Нечаеву: "Слушай, командир полка. Видишь эту высотку шестьдесят один, пять? Завтра утром возьмешь ее. Возьмешь - получишь Героя Советского Союза. Не возьмешь - будешь расстрелян".

И наш командир на это ответил: "Хорошо". И улыбнулся. Ей-богу.

Маршал повернулся кругом и вышел, генерал и командир дивизии ушли за ним.

А мы остались. Я посмотрел тогда на нашего старшего лейтенанта и вижу: он все улыбается.

Меня даже в пот бросило.

6

Гораздо позже ночью, когда мы пробирались к третьему батальону - а мы всю эту ночь проходили от батальона к батальону, от батареи к батарее, где-то в открытом поле мы прижались к земле, чтобы покурить, и я спросил у Виталия Николаевича: "Почему вы улыбнулись тогда?" Он подумал и ответил: "Мне его жалко стало". "Кого жалко?". "Маршала жалко". - "Маршала?" - "Да, ему плохо, ему хуже, чем нам. Он отвечает за все, за весь фронт. Видели, какие у него глаза красные? Какой у него рот горький?" Так он и сказал: "горький рот" - я хорошо это помню, вся эта ночь и весь день, все это как будто вчера было; я даже не слышал никогда, чтобы говорили так: "Горький рот", эти слова мне понравились, такие они были необыкновенные... Ну, я признался Виталию Николаевичу, что на глаза и рот маршальский не смотрел и даже, по правде говоря, не подумал, что у маршала есть рот и глаза, а смотрел на его звезды на петлицах (погон тогда не носили), и на его мундир. А Виталий Николаевич - он умел не на поверхность смотреть, а в душу... Что же я вам это говорю? Вы-то его знаете, не мне вам рассказывать...

Уехал, значит, Маршал Советского Союза, остались мы в землянке товарищ Нечаев, Черепанов, да один лейтенант из первого батальона (пришел узнавать, что да как), да полковой инженер. А майор, командир полка, вижу я, притих. Умер. И товарищ Нечаев снял с него планшет с картой и глядит на карту, потом бежит куда-то с Черепановым, возвращается с танкистом в черном шлеме - невдалеке, оказалось, танкетка стоит - и велит лейтенанту привести взвод солдат. И тот приводит, и вместе с танкеткой они отправляются на вырубку штаба. И мне он велит исправить связь, и я бегу и исправляю, и когда возвращаюсь - его еще нету, а невдалеке слышатся разрывы гранат и выстрелы. Потом он возвращается вместе со всем штабом. И штаб приходит ни жив ни мертв, с сундуками, бумагами и полковым знаменем в чехле. И распоряжается товарищ Нечаев без криков, но все его слушаются. Знают все, что завтра этот старший лейтенант в рваных сапогах будет Героем Советского Союза или же будет расстрелян. И ему все быстро подчиняются и смотрят на него с особым уважением. И вроде бы жалеют его и как бы виноватые перед ним стоят.

А потом он велит мне принести воды умыться. Достаяю я воды, приношу. Умывается он холодной водой. Предлагаем мы ему поесть - не ест. Поужинали все, а он нет; он офицеров штаба рассылает в роты и батальоны, а сам тоже идет и берет меня с собой. И ночь мы не спим, лазаем по окопам; и он спешит, перебрасывает взвода, и орудия, и минометы с места на место; и солдат расспрашивает про немцев и про их огневые точки, а особо он беседует с артиллеристами, заботится насчет снарядов и насчет пристрелки. И я его спрашиваю: "Вы, наверно, крепко военное дело изучали?" А он засмеялся: "Нет, говорит, я инженер, а по званию старший техник-лейтенант, случайно ротой стал в бою командовать - в тот момент никого поумней меня рядом не нашлось... Видишь, говорит какую карьеру сделал: неделю назад техник-лейтенант, сегодня - командир полка... А завтра..." Тут он замолчал и молчал долго. Я тоже, конечно, молчал.

В третий батальон было невозможно пробраться. Речка, низина, немцы всю ночь стреляют по ней из пулеметов. Полежали мы, покурили, потом поползли. А уже начинает светать, время идет. Что делать? Товарищ Нечаев полез в речку, и мы по грудь в воде час пробирались среди камышей, медленно, чтобы немцы не услышали плеск. И обратно тоже так.

Возвратились мы, было уже светло. Думал я, поспим часа два, потом наступать. Я-то действительно поспал немного, а командир не спал, все распоряжался да с начальником штаба приказы писал. Как проснулся я, вижу: встает он с места, перекладывает из вещмешка в карман гимнастерки запасные очки и говорит начальнику штаба: "Сиди здесь, команду, разговаривай с начальством по телефону, докладывай ему обстановку, а я пойду. Сам поведу полк высотку брать".

Взял он меня и Черепанова, и мы пошли. И когда мы поднялись на возвышенное место и увидели перед собой большак и железнодорожную насыпь с разрушенным полустанком, а за железной дорогой ту самую высотку, шестьдесят один запятая пять, - холмик с редкими березками, - и увидели наших людей, медленно шедших к большаку небольшими кучками, и артиллеристов, тащивших "сорокапятки" на прямую наводку, - в этот момент Виталий Николаевич приостановился и сказал:

- Хорошо бы - убили. Жена и сын не будут опозорены.

И понял я, что он опасается, что не сможет полк взять ту высотку.

Сил действительно было у нас мало. Главный удар наносил второй батальон. Товарищ Нечаев на эту ночь усиливал его за счет других двух батальонов. Этот батальон стал как бы штурмовой группой, а остальные два, малолюдные, только поддерживали его огнем.

Постоял товарищ Нечаев и пошел, а мы - за ним.

Может быть, немцы что-нибудь пронюхали - у нас-то всю ночь было беспокойно, роты передвигались для создания ударного кулака, - стрельба была сильная, но товарищ Нечаев шел вперед во весь рост. А я человек необстрелянный - когда рядом рвалась мина, я, конечно, падал на землю и впивался в нее, как клещ. Был я неопытный, притом о жене и детях думал, да и маршал мне расстрелом не грозился. А старик Черепанов - тот тоже не ложился, не кланялся снарядам. И оба ждали, пока я встану, но не упрекали меня, молчали.

Когда же мы пришли во второй батальон и дело уже подходило к девяти часам, началу атаки, и мы с товарищем Нечаевым и командиром батальона тоже старшим лейтенантом - вышли на большак, где в обоих кюветах накапливался батальон для атаки, товарищ Нечаев вдруг оборачивается, манит меня пальцем и говорит: "Тут вот оставайся, тут и будешь. Будешь следить за связью со штабом полка и с соседом справа".

И жмет он мне руку крепко. И понимаю я, что он меня жалеет и не хочет брать с собой в атаку и потому придумал мне такое поручение, хотя вначале толковал, что я потащу за ним связь. Но не в силах я был ему возразить и по слабости человеческой обрадовался, так как боялся смерти и думал про свою семью. А для успокоения души думал: "Командиру виднее". Черепанову он тоже велел остаться, а когда Черепанов стал ему перечить, он сделал вид, что рассердился, и сказал: "Выполняйте приказание". Однако Черепанов, как я потом узнал, все-таки ушел с ним.

Высотку мы взяли. Я-то этого не заметил, так как тащил свои телефоны в земле, как крот, а все кругом гудело, и убитых было много. Уже на той самой высотке узнал я, что мы ее взяли и что товарищ Нечаев был ранен в плечо и руку. Мне рассказывали, что все поздравляли его со званием Героя, а он смеялся, отмахивался. И верно, поздравления были прежде времени. Все наше наступление продолжалось еще три дня, а потом выдохлось - немец был в полной силе, а мы еще только учились, как его бить. И высотка эта, которая казалась маршалу самым главным делом, была уже никому не нужная, а впереди было еще столько высоток, что ежели за каждую расстреливать командиров полка или давать им Героя Советского Союза, то не хватит офицеров в армии и золота на звезды в целом государстве...

Черепанова, между прочим, тоже ранило вместе с вашим мужем. Но я их не видел, увезли их в тыл.

7

Во время рассказа солдата Ольга Петровна, слушая вначале рассеянно, а потом все с большим вниманием и напряжением, вспоминала покойного мужа, но вспоминала не так, как обычно в течение двух с лишним лет, прошедших со времени его гибели, а совершенно

по-новому. Солдат казался ей как бы посланцем из другого мира - того мира, где Виталий Николаевич Нечаев жил отдельно от нее, где умер и продолжает жить после смерти в воспоминаниях этого солдата. У нее ни на минуту не проходило ощущение, что однорукий солдат прибыл от живого Виталия Нечаева непосредственно - оттуда, где Виталий находится теперь, - настолько живы были его впечатления и настолько, в сущности, потрясающ его приход.

Ольга Петровна была далека от всякой мистики. Ощущение, что эти голубые глаза видели Виталия не два года назад, а только что, появилось оттого, решила она, что все, что рассказывал Слепцов, было для нее совершенно и абсолютно ново. Оно как бы относилось к Виталию Нечаеву и в то же время как бы не имело к нему никакого отношения, настолько он показался ей в рассказе и похожим и не похожим на себя.

С одной стороны, в словах солдата покойный муж ее вставал совсем как живой. Улыбка его, добрая и застенчивая до чрезвычайности, самозабвенность в любом труде, даже самом мелком, неумение заботиться о себе и условиях своей жизни, непрактичность, раздражавшая ее в нем нередко, - все это было на него похоже. Когда солдат произнес его слова: - "Мне стало его жалко", - Ольга Петровна даже вздрогнула, до того это ей напомнило его всего, до мельчайшей гримасы лица, его свойство, тоже иногда вызывавшее ее раздражение, "усложнять простые вещи", как она это называла когда-то, то есть всюду стараться находить побудительные причины и, поняв их, прощать.

Да, она узнавала его через слова солдата, словно солдат незримо рисовал его перед ней теплыми и яркими мазками, хотя солдат вовсе не пытался передать ситуации, о которых рассказывал, какими-либо средствами искусства или подражания.

Но, узнавая мужа в частностях, она не узнавала его в целом. Нечаев, встававший из слов солдата, был не тем человеком, которого, казалось, так хорошо знала Ольга Петровна, - рассеянным, робким, несколько инертным, увлеченным только своими расчетами и чертежами, только умственным, и то до некоторой степени механическим трудом расчетчика, чернорабочего от инженерии. Слепцовский Нечаев вошел одетый в воду, а тот, ее Нечаев, простуживался от любого сквозняка и был мнителен, приписывая себе всевозможные болезни. Этот Нечаев был любимцем множества людей - тот был нелюдим, он был только уважаем, да и то слегка насмешливо. Этот Нечаев не боялся никого - даже маршала, который мог его расстрелять; тот опасался институтского начальства, которое могло его ущемить. В том Нечаеве, которого она знала раньше, не было как будто ни удали, ни хладнокровия, ни такого уж большого обаяния - всего того, что было в избытке у слепцовского Нечаева.

Этот, кроме прочего, оказывается курил! Виталий не выносил табачного дыма. У этого был орден Красного Знамени, он командовал батальоном, полком! Несколько раз во время рассказа Ольга Петровна с полной искренностью думала: "Да полно, не случилась ли грубая и обидная ошибка? Может быть солдат рассказывает совсем о другом человеке - однофамильце и тезке Виталия Нечаева. Он не туда попал, ему дали неверный адрес..."

Виталий Николаевич не писал ей о своих ранениях, о полученных наградах, званиях, должностях. Вероятно, он думал, что это не может интересовать ее. Но по мере того как она, деля свое возбужденное и утончившееся внимание между рассказом Слепцова и своими смятенными мыслями, вспоминала письма мужа и отдельные фразы из них, она не могла скрыть от себя, что, в общем, он сообщал ей о всех своих делах, передрыгах, переводах из части в часть, с фронта на фронт. Перед ней всплыла фраза: "Вот у меня и вторая царапина - все идет отлично". Он сообщал ей об этом в игривом тоне - конечно, потому, что не хотел ее волновать.

Она стала упорно вспоминать, - не упуская при этом ни единого слова из рассказа Слепцова, - что она ответила Виталию на сообщение о "царапинах". И покрылась холодным потом:

ответила она что-то удручающе незначительное, мелкое, даже не сказала, что понимает, как ему трудно. Между тем он выносил тяжести невыносимые, муки смертные.

Когда солдат рассказывал о том, как Виталий Николаевич шел по грязи в плохой шинели, без еды и в порванных сапогах, она испытывала знакомое ей чувство покровительственной жалости и даже некоторого удовлетворения тем обстоятельством, что муж без нее беспомощен и не приспособлен к жизни, тезис, который она не уставала повторять когда-то. Но по мере хода рассказа она поняла, какая все это чепуха, он вряд ли замечал свой унылый и несчастный вид, он был нетребователен, он и от нее так мало требовал. Он был скромн и горд. Впрочем, был ли он скромн? Был ли он горд? Она не знала. Она плохо знала его. Или, может быть, этот солдат его плохо знал? Кто знал подлинного Виталия Нечаева? Она, которая провела с ним десять лет - три тысячи шестьсот пятьдесят дней, или он, знавший его три дня?

Конечно, она имела свои оправдания. Эти годы она жила в маленьком сибирском городке, казалось, целиком сотканном из неуюта и холода, тем более что старожилы, местные чалдоны, жили в своих бревенчатых черных домах уютно, тепло и замкнуто.

С великим трудом приживалась она в тех краях: жизнь там текла трудно и однообразно, и ей казалось, что хуже не бывает. Мечта о возвращении в Москву превратилась у нее почти в манию. Каждый день войны казался ей проклятием, потому что откладывал это возвращение. Правда, ее жизнеспособность не изменила ей и там. Она вскоре сравнительно сносно устроилась, пробилась сквозь строй препятствий, сквозь вязкую массу неподвижного быта тех мест. Энергия пополам с полусознательным кокетством, тоже являющимся проявлением энергии и жизнеспособности в красивой женщине, помогла ей встать на ноги, получить собственный угол, хорошую работу, полезные знакомства.

Потом она узнала, где находятся сослуживцы мужа, списалась с ними. Они вызвали ее в другой, большой сибирский город и устроили в институт, где работал Нечаев до войны (этот институт эвакуировался туда из Москвы в октябре сорок первого года). В ее переезде и устройстве особенную роль сыграл Ростислав Иванович Винокуров, приятель Нечаева, видный инженер и изобретатель. Она часто стала бывать у Винокуровых и замечала не без чувства самодовольства, что Винокурову приятно общение с ней, что ему, человеку широко образованному, выдающемуся в кругу их знакомых и сослуживцев, с ней интересно, хотя когда-то, при первоначальном их знакомстве в Москве, он не обращал на нее никакого внимания: она была для него тогда женой Нечаева, и не более.

На новом месте ей было легче, но все-таки и тут шла суровая, полуголодная жизнь.

Значит ли это, что она там, в Сибири, не думала о муже? Нет, она все время думала о нем, сознавала, что он есть, его отсутствие было одной из сторон большого несчастья, именуемого войной. Однако она была убеждена, что никому не придет в голову послать его сражаться на поле боя, что он будет проектировать мосты или укрепленные районы. Это было настолько целесообразно, что Ольга Петровна, твердо верившая в силу целесообразности, иначе не могла предполагать. Следовательно, Виталий Николаевич был на войне, и это давало ей право на чистую совесть и на приятное презрение к женам тех мужчин, которые на войне не были, например к жене Винокурова. В то же время Виталий Николаевич как бы на войне не был, так как годился только для инженерного дела, и это давало ей иллюзию спокойствия за его судьбу. К тому же и его письма, успокоительные и даже веселые, разгоняли ее страхи.

"Зачем он меня щадил? - думала она теперь, словно пробужденная ото сна рассказом солдата. - Он не смел вводить меня в заблуждение..." Но, думая это, она в то же время чувствовала, что чуточку лицемерит, что ее спокойствие было самообманом и что время от времени она и тогда сознавала это.



- Не думал я, не гадал, - продолжал свой рассказ Слепцов после непродолжительного молчания, - что еще раз придется встретить Виталия Николаевича. Сами знаете, - такой фронт, в две тысячи километров! Сколько частей, дивизий, армий, все вокзалы кишат военными, все деревни полны военных, и в городах, поди ж ты, самых тыловых - и то, как говорится, военных больше, чем людей.

Почти три года прошло. Все было другое, и я был другой. Казалось мне, что война идет уже лет десять и еще будет идти, может, лет сто. "Хорошего человека война делает лучше, плохого - хуже", - любил говорить Виталий Николаевич. Я про эти его слова часто думал. Наверно, они правильные. Однако всяко бывает. И хороший человек на войне привыкает к мысли, что все трын-трава, один конец и потому все можно, все разрешается. И привыкает он к мысли, что государство должно за него думать и что у государства можно все брать без стеснения, раз оно твою жизнь берет, не стесняясь. На войне взять чужое не считается воровством, отнять не считается грабежом, потому, ежели ты не возьмешь, какая-нибудь шальная бомба разрушит, всякое добро, которое делалось большими мастерами и наживалось годами, уничтожит за минуту. Вот человек и приучается ничего не ценить. Даже хороший человек. А плохой, тот и вовсе сатанеет.

Нет, война человека портит, потому после нее у нас стало больше воровства всякого, нечестности всякой.

Это к слову сказать. А вообще-то, конечно, дело темное. Значит на чем это я... Был я уже обстрелянный солдат, в сержанты меня произвели и назначили командиром отделения в отдельной роте связи, при штабе дивизии. Потом был ранен, попал в госпиталь, оттуда - в запасный полк. Тут я обучал молодежь, стал вроде педагогом: имел, оказывается, способность объяснять новичкам премудрость воинской телефонной связи.

Но вскоре случилась неприятность. Потеряли мы стыд, решили, что мы незаменимые. И стали ребята выпивать лишнего. И однажды доигрались мои ребята, что их пьяных задержал на улице командир бригады, полковник. А про него было известно, что выпить он сам любил и потому особенно боролся с пьянством. Так говорили, а может, оно и неправда, сам я его пьяным не видел. Застукал моих ребят и отдал приказ всех сержантов-связистов, которые засиделись в тылу, отправить на фронт. Выдали нам новенькое обмундирование, обули в американские ботинки без сносу и погрузили в эшелон под вой местных девчат, с которыми мои сержанты крутили любовь.

И вот в начале сорок четвертого года, зимой, попал я на фронт. Зима была снежная, красивая, кругом необозримые леса, все сосновый бор сплошной, мачтовый лес. А стрельбы никакой, только дымки от кухонь да блиндажей на немецкой и на нашей стороне. А блиндажи, благо леса вдоволь, понастроили у нас, как дворцы, и траншеи обшили мы досками, как какие-нибудь немцы, прости господи... Война, она тоже много личин имеет. Бывает, что и не так страшно, даже интересно. Когда мало стреляют... Стало быть, приехав в этукую благодать, поступил я снова в дивизию, в роту связи. Чаще всего дежурил при штабе, говорил по телефону то с одним полком, то с другим: как, да что, да не случилось ли чего?

И вот среди всех голосов - а их в телефоне было эвон сколько, целая пропасть разных частей, подразделений, позывных - один голос показался мне знакомым. Да мало ли что может тебе показаться! Прошли недели две, пока однажды вечером снова не услышал я тот самый голос, и голос тот сказал весело так и громко: "Это был поступок!" Тут я даже задрожал и вмешался в разговор: "Старший лейтенант Нечаев?" - "Капитан Нечаев. Кто меня позвал?" - "Сержант Слепцов, может помните?" - "Не помню!" - "Ну, конечно, разве упомнишь. Мы-то всего три дня вместе были, и давно, в сорок первом году под Ельней". - "Ну? Под Ельней?" - "Я при вас телефонистом был, вместе с Черепановым". - "Андрюша?" (Он меня тогда

Андрюшей звал.) - "Я самый".

Через некоторое время добился я откомандирования в батальон товарища Нечаева. Из дивизии в батальон редко кто просится, батальон к фронту ближе, там опаснее. Но у нас уж так водится: раз просишься - не пустим на всякий случай. Пришлось долго упрашивать, пока отпустили. И вот я снова очутился рядом с товарищем Нечаевым. И за то время что был с ним вторично, совсем к нему привык; не ошибся я в нем.

Мы, конечно, жалели, что Черепанова с нами нет, тем более что Черепанов, выписавшись из госпиталя, писал письма, рвался на фронт, хотя его демобилизовали по чистой. Я товарищу Нечаеву говорил: "Пишите ему, пусть приезжает". А он все отвечал: "Конечно, напишу, пусть приедет". Но не писал. Жалел старика.

Сам товарищ Нечаев был не такой, как в сорок первом. Уже и одет был хорошо, больше о себе и даже о внешности своей заботился. Сапоги и те не кирзовые, а кожаные. Правда, хромовые себе не завел. У всех офицеров были хромовые, только у него не было.

Как я вам уже говорил, жили мы в лесу, в блиндажах в четыре наката ни один снаряд не пробьет, дров для топки сколько угодно. Ну просто рай, кабы не противник да не вши. Вы меня извините, Ольга Петровна, но эти насекомые нас сильно донимали. Вши - они любят чистоту. Пока солдат наступает, спит в ямах и не переодевается, не моется, они как бы есть и нет их: может, потому, что не до них. А как нас вымоют да оденут в чистое белье - тут они начинают свирепствовать до невозможности. Пришлось устроить агромаднейшую вошебойку, куда мы покидали все имущество - кисеты и те.

Помню, Виталий Николаевич рассказывал, как поначалу, в сорок первом году, он был самый вшивый из всех офицеров и солдат. И никак не мог понять почему. Один солдат ему объяснил, в чем дело. "Думаете много, сказал тот солдат, - а вши от мыслей разводятся". Виталий Николаевич нам про это рассказал и говорит: "Как мне тот бывалый солдатик это объяснил, подумал я и понял, в чем дело. Вши от мыслей разводятся, то-то и оно! То есть попросту они разводятся у тех людей, которые много думают головой и ни черта не умеют делать руками. После этого я стал следить за собой, старался мыться почаще... Надоело быть белоручкой... И вши от меня отстали..."

И верно, это я тоже заметил - Виталий Николаевич теперь мылся и брился и стал раздеваться на ночь и даже складывать вещи в порядке, как спать ложился. И говорил мне, что когда он вернется домой, то Леля (так он вас называл, Ольга Петровна) удивится, и обрадуется, и не узнает его, и полюбит еще сильнее; и он улыбался этак невесело - вы же знаете, Ольга Петровна, - и добавлял: "А может, снова, как попаду под ее крылышко, позабуду свою военную выучку..."

Простой он был, открытый для всех. Рассказывал нам много всякого интересного. Целые романы наизусть, про разные науки тоже... Все на свете знал. Я его тогда спрашивал, почему он все еще в пехоте да все еще комбатом, а он смеется. "Понравилось", - говорит. Может, ему впрямь понравилось, а скорей всего - не умел он и не хотел устраиваться там, где поспокойнее да посуше.

Так мы и жили. Однако вечно стоять на месте в роскошных блиндажах невозможно... Вшей не было, а противник еще был.

Не успели стаять снега, как навезли артиллерии видимо-невидимо, в лесах стало народу и машин невпроворот - ни пройти, ни проехать. Наконец ахнули и пошли, забывши про сон и отдых. Пока не дошли до водной преграды. Первая рота, правда, форсировала ее с ходу и закрепилась на западном берегу, а остальные роты и весь полк не смогли: лодок не было, немцы их раньше увели либо уничтожили.

На другом берегу немцы жмут на наших солдат, а солдаты наши все сигнализируют ракетами: шлите боеприпасы, шлите боеприпасы! И приказывает нам комбат перебраться через реку на подручных средствах, но никто в воду не идет - река пенится от снарядов, и к тому же еще помогает немцам их немецкий бог: поднялся большой ветер, и волны как морские ходят.

Тут нашел кто-то на одном дворе рыбацком лодочку-душегубку, принесли ее, спустили на воду, положили туда ящики с боеприпасами, а лодка такая утлая, что страх берет. Вижу я, комбат стоит на берегу мрачный, потом вдруг идет к лодке. Я к нему и говорю: "Товарищ капитан, я вас не пущу". "Как так не пустишь?" - "Да так, не пущу. Не выдержит лодка, пойдет на дно".

Он ничего не отвечает и идет к лодке. Я ему говорю: "А вы хоть плавать-то умеете?" Он смеется: "Я? Я был первый пловец в институте. Призы брал за Московскую область". Тут мне полегчало. Он спрашивает: "А ты?" Я говорю: "Я пловец неплохой. На Енисее вырос". Он говорит: "Превосходно!" (Он любил говорить "превосходно", и мы все тоже стали так говорить. И я заметил, что и вы, Ольга Петровна, тоже сказали несколько раз "превосходно"... Как его словечки ко всем приставали! Я и то теперь дома у себя... Жена смеется: "Одно знаешь: превосходно да превосходно!" И еще он часто когда удивлялся, то спрашивал: "Вот как?" У нас так не спрашивают, и сначала мне это казалось смешно, а потом и я стал так переспрашивать).

"Превосходно! Вот мы и покажем пример", - говорит мне, стало быть, Виталий Николаевич, и мы садимся в лодку и плывем, и за нами солдаты стыдно им стало! - кто на чем.

Как переплыли - не спрашивайте, но переплыли и закрепились, а скоро переправились и другие батальоны... После этого и приехал к нам командир дивизии генерал-майор Захарченко, стал - в который раз - звать товарища Нечаева к себе в штаб дивизии. Пошел бы - остался бы живой. Генерал тогда вручил мне орден Славы второй степени (третьей степени у меня уже был за прежнее), а Виталия Николаевича представил к ордену Отечественной войны.

9

В то время как солдат вел свой рассказ о Виталии Нечаеве, Ольга Петровна вспоминала, что после того, как вышла замуж, пятнадцать лет назад, она воспринимала своего мужа так же, как Слепцов своего командира. Он был тогда таким же ясным, открытым, искренним, остроумным, тихо-талантливым во всем, что делал. Позднее ее ощущения притупились или сам Нечаев потерял свою ясность, веселость, победительность какую-то? Или она перестала в нем все это замечать - пригляделась, приобыкла? Или действительно все это ослабло под гнетом житейских дел, от всяких неурядиц в семье и в стране (он болезненно переживал то и другое)? И не виновата ли она в том, что он потускнел, если он действительно потускнел?

Он работал. Работал много - даже на курорт ухитрялся брать с собой чертежи. А какая у них была душевная, личная жизнь? Что он делал, помимо работы? Думая об этом теперь, она вдруг с совершенной ясностью вспомнила те обстоятельства, которые знала и раньше, но которые не казались ей такими уж важными. Ведь это он и никто другой заставил ее закончить не законченное по ее лености образование, приучил ее читать книги, объяснял их ей. Это он исподволь, осторожно, так, чтобы ее не обидеть, прививал ее несколько косному уму широкие понятия и умение видеть скрытое, но главное за внешними проявлениями жизни. Это-то и сделало из нее того человека, которым она была теперь - уважаемого сослуживцами, принимаемого всеми всерьез, ту женщину, которую полюбил строгий к людям Ростислав Иванович Винокуров; из-за Ольги Петровны он ушел от жены и детей.

Все эти воспоминания, сопровождавшиеся чувством раскаяния и щемящей неловкости, проходили перед ней, тесня друг друга, как будто в спешке и в смятении. Лишь когда Слепцов

стал рассказывать о переправе, все эти воспоминания и мысли разом остановились и замерли.

Слепцов увидел, как ее лицо внезапно покраснело, будто зажглось изнутри. Она закусила губу и закрыла глаза. Слепцов не мог знать, какая именно подробность его рассказа так сильно подействовала на нее.

А это произошло потому, что, услышав - ей действительно показалось, что она явственно услышала его голос и интонацию, - услышав слова Нечаева о том, что он брал призы за плавание и т. д., Ольга Петровна вспомнила, что он совсем не умел плавать и всегда стыдился этого. И так, все, что он говорил на берегу реки, было вздором, выдумкой, если можно назвать вздором и выдумкой чистое золото самопожертвования ради общего дела. Ольга Петровна в этот момент почувствовала, как у нее перехватывает дыхание. И оттого, что Слепцов и теперь не знал того, что узнала она спустя два с половиной года, Ольга Петровна почувствовала мучительное волнение за человека, плывшего в утлой лодочке по бурной реке, обстреливаемой со всех сторон, и гордость от того, что этот человек думал о ней и любил ее, и жгучую обиду на себя за то, что не поняла, кого потеряла.

Она чувствовала, что готова влюбиться в этого нового Виталия Нечаева, в его удачу, ум, презрение к смерти, обаяние, во все то, что так отвечало ее собственному идеалу человека и мужчины. Как могла она считать Нечаева пресноватым и скучноватым, в то время как в нем лучшие человеческие черты были в избытке и в чудесном сочетании? Все это она пропустила сквозь пальцы, как воду.

Она могла бы отмахнуться от всех этих мыслей, как отмахивалась уже не раз, считая, что отвлеченные мысли не имеют значения перед лицом грубых потребностей жизни. Да, она умела пожатием плеч оттолкнуть от себя "бесплодное нытье" ради благополучия семьи и упорядоченности ее существования.

Но теперь она не могла уйти от этих мыслей - на нее смотрели поразительно ясные глаза однорукого солдата, и их простодушный теплый блеск не давал ей уходить в сторону, ссылаться на жизненный опыт, на пример соседей и знакомых; эти глаза говорили ей: ты жила рядом с героем и не заметила этого.

Ольгу Петровну охватили горечь и боль, которые вскоре незаметно для нее самой превратились в досаду и даже злость. Она уже думала о Слепцове почти с неприязнью и мысленно как бы оправдывалась перед ним: "Я, что ли, его убила? Что ты смотришь на меня так пристально? В чем я виновата?"

Так она мысленно твердила, глядя в стену сухими глазами. При этом ее взгляд останавливался на паутине в углу и на трещине в штукатурке, и она думала о том, что надо произвести ремонт квартиры и уборку, и эти мысли, несмотря на всю их неуместность в этот момент, она удерживала при себе, упрямо и почти со злорадством думая, что да, да, уборка и ремонт! Жизнь есть жизнь, и сумерничать не приходится.

Она встала и резким движением зажгла настольную лампу. В это время в коридоре что-то задвигалось, дверь приоткрылась, донесся запах жареного лука, шум примуса, похожий на шум летнего дождя, и шорох веника, напоминающий порывы весеннего ветра, и другие квартирные запахи и шумы, мелкие, но важные, как сама жизнь. И Ольге Петровне показалось, что здесь, в комнате, разреженный холодный воздух, и, сказав, что сейчас вернется, она поспешила выйти к родным запахам и шумам своего дома.

10

Свет настольной лампы под зеленым абажуром сделал комнату зеленоватой и таинственной, как речное дно. Оттого что комната осветилась, за окном стало темно, словно сразу

наступила поздняя ночь. Слепцов нащупал в кармане полный табака кисет, но не стал закуривать. Он сидел, ожидая возвращения Ольги Петровны и не двигаясь, как бы стараясь не рассеять все то, что он должен был ей рассказать. Она все не шла, но он не испытывал никакого нетерпения, зеленый свет наполнял его покоем и тоже казался составной частью его повествования, естественным освещением той полусказочной действительности, в которой он теперь жил. Он думал о том, что недаром Нечаев стремился сюда, в здешний теплый уютно освещенный мир, и сердце Слепцова переполнилось нежностью к подруге Нечаева, хозяйке этого дома...

Когда она вернулась, Слепцов продолжал:

- Про вас, Ольга Петровна, ваш муж рассказывал так много, что я как бы с вами давно знаком; и не только я, но и жена моя, Марья Александровна, и даже дети и те вас знают и готовы за вас на край света. Да, да, он мне про вас все рассказал. Про то, как вы его всегда поддерживали, как вы работали и институт кончали, имея на руках маленького Юру. Видел я сегодня Юру, вылитый отец, тоже серьезный и честный. Честный. Вот оно, главное-то.

В это время в комнату вошел мужчина в темном костюме. Это был высокий человек в очках, с молодым лицом, но седыми волосами. Проходя мимо Слепцова, он кивнул ему, и Слепцов прервал рассказ и привстал, чтобы поздороваться по деревенскому обычаю - уважительно и обстоятельно - с новым человеком, кто бы он не был. Но так как Ольга Петровна ничего не сказала, а человек тоже не изъявил стремления к длительной церемонии знакомства, только пробурчал что-то - очевидно, свою фамилию, - затем прошел и уселся в то самое кресло, где утром дремал Слепцов, - солдат в нерешительности постоял еще мгновение, затем сел и продолжал рассказ, лишь отодвинув стул от стола, чтобы не оказаться спиной к человеку.

Продолжая рассказ, он по временам забывал о присутствии того человека и, только изредка вспоминая о нем, вежливости ради полуоборачивался к нему на мгновение.

- И последние его слова, - продолжал Слепцов, - и мысли последние были про вас. Про вас и про родину, которую он любил, но про которую говорил мало; просто отдал за нее жизнь и нам завещал отдать, если придется.

А ранило его при штурме немецкой обороны, и я не был тогда при нем, и когда мне сказали, я побежал и встретил его, как он лежал на подводе и его отвозили в тыл. Но подводу эту трясло. И ему было больно. И тогда мы его сняли и положили на носилки. Как я вам уже рассказывал. Потом попросил, чтобы мы его положили, чтобы он отдохнул. И мы его положили. Тут он взял меня за левую руку и крепко сжал. У меня даже потом синяки были - так он меня крепко взял за руку. Вот здесь... Ну, то есть руки-то у меня этой уже нету... Вот какое дело. И тут он меня и попросил побывать у вас и передать вам... все про него да про его к вам уважение и любовь... А также передать вам, стало быть на память, разные предметы... Между прочим, логарифмическую линейку - это солдаты нашли в одном доме и, зная, что товарищ Нечаев инженер, отнесли ему. И он ее в подарок для вас прочил и мне про это сказал. А также часы ручные - тоже трофеем, один солдатик ему поднес, Терехов по фамилии, молодой. Его позже убило... Ну вот, Ольга Петровна... Потом, конечно, выпустили боевой листок, что-де отомстим фрицам за нашего комбата... Видели вы когда-нибудь, когда много мужчин вместе плачут? Это - редкое явление...

Слепцов замолчал. Его сердце сильно билось, и только когда оно успокоилось, он услышал глубокую тишину в комнате. Тогда он пожалел женщину, которую так, очевидно, расстроил своим рассказом. При этом он вспомнил и про мужчину, сидевшего в кресле, и полуобернулся к нему вежливости ради. Но в это мгновение он почувствовал к нему неопределенную антипатию, неизвестно чем вызванную, - может быть, тем, что мужчина сидел в кресле развалясь, как дома, и его лицо было непроницаемо спокойно. Может быть, тут сыграло роль и то, что Ольга Петровна после появления мужчины стала вести себя несколько иначе, чем

до того: она почему-то часто поднималась, и снова садилась, и вертела в руках солонку, и несколько раз отводила глаза от Слепцова к тому человеку. Но эти ощущения были слишком поверхностны, чтобы обращать на них особое внимание, и Слепцов после недолгого молчания сказал, полуобернувшись к мужчине:

- А меня ранило в декабре того же сорок четвертого года, на венгерской территории. И после длительного лечения очутился я дома, в Сибири. Неприятель до нас, понятно, не добрался, все у нас на месте, ничто не разрушено. Даже, ей-богу, удивительно было, когда я прибилсь домой после госпиталя: все дома целые... Верно, колхоз, раньше богатый, в войну сильно обеднял - мужиков мало, заготовки большие для фронта, почти все сдавали... Я сначала не знал, за что приняться, ходил неприкаянный; жена, спасибо ей, поняла мою душу, не сердилась, что я целые дни на завалинке сижу, покуриваю, на всех покрикиваю и на все зубами скрежещу, - молчала, только иногда плакала, и то потихоньку. Я, конечно, это замечал, но ничего не мог поделать со своей озлобленной душой. Но понемногу оклемался, пошел работать сторожем, потом пастухом, а позже сделал мне один мой дружок в МТС вторую руку, железную, вроде ухвата, и вскоре сел я на трактор. Про меня даже в газетах писали, что я чуть ли не герой и так далее. Но я не герой и делал все это лично для себя - понял, что помру, если останусь один, без пользы для людей. Выполнял норму и две. А как уборку закончили, взял отпуск - и вот...

11

Последние слова Слепцова, преодолевая свою антипатию сказал, обернувшись к мужчине в кресле, так как не желал быть грубым и невнимательным к человеку, сидящему в комнате Нечаева. Как бы воспользовавшись этим, Ольга Петровна, то и дело встававшая и садившаяся во время рассказа, снова встала.

- Пора обедать, - сказала она и быстро вышла из комнаты.

Слепцов, все еще взволнованный воспоминаниями, видел, что и она взволнована, и ласково проводил ее взглядом до двери, а потом снова обернулся к мужчине. Тот угрюмо или, может быть, напряженно молчал. И Слепцов, почувствовав себя неловко, сказал:

- Вот так, гражданин... мм...

- Ростислав Иванович, - буркнул мужчина.

- Вот так, Вячеслав Иванович, - продолжал Слепцов, плохо расслышав редкое имя. - Расстроилась Ольга Петровна... Может, я слишком это... все подробно... Но, как говорится, слова из песен... Такого человека потерять...

- Да, - сказал мужчина односложно.

Слепцов внимательно посмотрел на него и спросил:

- Друзья, полагать надо, помогают ей, вдове, по силе возможности?

Мужчина после довольно продолжительного молчания ответил так же односложно:

- Да.

И встал с места, чтобы выйти, но дверь открылась, и Ольга Петровна вернулась. Она пришла с тарелками и расставила их на столе.

В это время за дверью заплакала девочка, а Ольга Петровна под этот плач все так же медленно и старательно расставляла тарелки. Наконец в полуоткрытую дверь просунулось круглое лицо Паши, и она сказала:

- Все плачет, Ольга Петровна... - и при этом покосилась на солдата: не вызовется ли он и теперь пойти к девочке да успокоить ее своим "сеше, хеше"...

Слепцов ответил ей беглой улыбкой, а Ольга Петровна раздраженно сказала:

- Сейчас приду.

Слепцов, которому жаль было младенца, прислушивался к его плачу, но как только Ольга Петровна вышла, так плач прекратился.

Этот так внезапно оборвавшийся плач ребенка вначале заставил Слепцова улыбнуться, но затем улыбка замерла на его лице и из ласковой стала удивленной, даже детски глуповатой, затем медленно отлетела от лица, оно стало растерянным, смущенным и, наконец, - смертельно-серьезным. Он посмотрел на мужчину, который напряженно стоял посреди комнаты, как бы не зная, выйти или остаться.

Слепцов медленно поднялся со стула, еще постоял с минуту, затем быстро и решительно направился к своему вещмешку, взял его, достал белый узелок, вернулся к столу, положил узелок на стол и стал развязывать его. Развязав, вынул оттуда разные предметы, положил их на стол, а платок, в который они были увязаны, сложил аккуратно на столе и сунул в карман. Потом он достал из кармана гимнастерки пакетик с фотографиями и тоже положил его на стол - лицевой стороной вниз. После этого он вернулся к вещмешку и завязал его.

В этот момент послышался короткий и резкий звонок, стукнула дверь, и в комнату вошел, застенчиво улыбаясь, Юра. Он был в пальтишке и с портфелем. Он запыхался - спешил, боясь, что уже не застанет приехавшего из Сибири солдата, таежника и рыболова. Но солдат был здесь. Комната была полна волнующих запахов: солдатского сукна, медвежатины, копченой рыбы, фронтовых и таежных дорог.

Юра, застенчиво улыбаясь, подошел к Слепцову, ожидая, что солдат обнимет его, привлечет к себе, начнет что-то рассказывать, словоохотливо и добросердечно, как утром. Но Слепцов только рассеянно потрепал его по плечу и стал молча ждать. И от этого на Юру тоже напало какое-то оцепенение, и он тоже встал неподвижно. И так три человека стояли неподвижно, каждый со своими мыслями, и чего-то ждали.

Но вот вошла Ольга Петровна, и тогда Слепцов заговорил очень быстро и сухо, не глядя на нее:

- Тут вот на столе, как видите, это самое. Его часы, очки, авторучка, книжка записная, письма, фотографии. Там же подарки, логарифмическая линейка для вас, готовальня и часы ручные для вашего сына. Еще там кой-что. Все, что у него было. Вот. Мне пора. Я и так задержался.

Он взял было шинель, но потом вдруг поглядел на Юру, его глаза на секунду сделались стальными, он снова отложил шинель, подошел к столу, взял ручные часики и молча отдал их Юре в руки.

Ольга Петровна положила на стол вилки и ножи и сказала в непринужденном тоне:

- Вот как? Значит, вы не будете с нами обедать? Очень жаль... За любезность вашу большое спасибо. Очень вам благодарна. А может, вы останетесь? Кстати, ведь вы ехали в такую даль - из Сибири, кажется? Наверное, вам и поездка стоила недешево... Один билет в такую даль обходится, вероятно, в копеечку... Нет, серьезно, может, вам нужны деньги? Вы скажите, без околичностей, без всяких церемоний. Пожалуйста. Как добрый знакомый Виталия Николаевича, фронтовой товарищ. Так что скажите... А я думала, вы пообедаете с нами. Вы где остановились?

В то время, как она говорила, Слепцов молча надевал на себя шинель и никак не мог надеть. Но никто не подошел к нему помочь, все как будто зачленели на своих местах - от всего, что происходило, и от возможной неловкости, которую может испытать калека, когда ему помогают.

В ответ на последний вопрос Ольги Петровны Слепцов сказал:

- Я ночью у родичей моих. У меня в Москве родичи. Где теперь нет сибиряков? Всюду они есть.

Он надел наконец на себя шинель и взял в руку кепку и вещмешок.

- Это верно, - подтвердила Ольга Петровна, вынимая из буфета и ставя на стол хлебницу. - У нас в институте тоже есть сибиряк, заместитель директора по материальному обеспечению. Он у нас недавно. Может быть, вы знакомы с ним? Леонтий Борисович Свербеев. Впрочем, верно, - Сибирь велика...

- Да, - сказал Слепцов, - Сибирь большая. До свидания, Юра... Ольга Петровна... До свидания гражданин.

И, взвалив мешок на плечи, он вышел.

12

Юра вышел вслед за Слепцовым, чтобы выпустить его из квартиры, и обратно в столовую уже не вернулся, слышно было, как он прошел мимо двери.

Когда стукнула входная дверь и звук Юриных шагов послышался справа от двери столовой и затих слева, у кухни либо у спальни, Ростислав Иванович, порывисто повернувшись к Ольге Петровне, сказал:

- Что ты сделала? Ты понимаешь, что ты сделала? У нас в доме был благороднейший человек, праведник, понимаешь, святой, а ты ему предложила денег! - Он продолжал, все больше волнуясь: - Смотри, какую преданность памяти Виталия Николаевича он проявил... какую любовь! - И с мужской солидарностью, вечной и темной солидарностью мужчин против женщин, он проговорил, глядя остро и колюче ей в лицо: - Да и верно, муж твой покойный был человек необыкновенный. Замечательный человек. Такого человека... о таком человеке нельзя забыть. Забыть такого человека может только... сука.

Он сам поразился оскорбительному окончанию своей фразы. Он не собирался произносить ничего подобного. Ольга Петровна была отвратительна в последнем разговоре со Слепцовым, и оттого, что она проявила себя такими неприятными чертами, он обозлился на нее. Но этого было бы мало для тех слов, которые он сказал, если бы он не знал, что не может без нее жить, что, несмотря на все, он любит и не перестает любить ее даже теперь, когда презирает, почти ненавидит ее.

В то же время он сознавал, что она своей черствостью в отношении к Слепцову отталкивала память о первом муже ради него, Винокурова, ради спокойного, безоблачного течения жизни в семье: она как бы боролась с чувством вины за свою любовь к Винокурову. Поэтому он вместе с презрением, почти ненавистью к ней испытывал приятное чувство гордости, что ради него забыт и находится в пренебрежении тот, другой, притом еще человек замечательный. И, наконец, одновременно с этим он испытывал острое чувство горькой, хотя и неразумной ревности - Впрочем, может ли ревность быть разумной! - бессмысленной оттого, что она не была обращена на кого-либо, а сводилась к простому предположению, что, если он умрет или даже уедет надолго, она полюбит третьего и будет так же сильно, решительно, как бы категорично, этого третьего любить, окружать своей заботой и теплом и



защищать свою любовь всеми средствами.

Эти чувства - любовь и страсть к ней, и боль за ее проявившуюся душевную грубость и бесчувственность, и обида за поруганную память прекрасного человека, и приятная гордость оттого, что она так любит его, своего нынешнего мужа, и предвидение, что и его она может разлюбить при определенных обстоятельствах, - все это смешалось в душе в одну кашу, горькую, как полынь, и сладкую, как мед. Полыни, впрочем, на этот раз было во много раз больше. Когда Слепцов простился и собрался уйти, Винокуров готов был ударить свою жену по лицу. Однако он не сказал ни слова, он вообще решил не вмешиваться - то было не его, а ее прошлое - и пожалел, что слушал часть рассказа Слепцова из спальни, а затем, войдя в столовую, был свидетелем разговора. Но когда Слепцов вышел и входная дверь глухо стукнула за ним и когда Юра, не понимавший, но явно чувствовавший, что произошло нечто отвратительное, прошел мимо двери, хотя знал, что его ждут обедать, - Винокуров не смог удержаться от выражения своих чувств.

- Что вы сделали? - повторил он, назвав ее на "вы", чтобы еще больше задеть. - Это же невозможный поступок. Нигде он не остановился, неправду он сказал про родственников, неужели вы этого не поняли? И неужели вы не поняли, что если бы он приехал ради денег, то ему проще всего было бы продать золотые часы и остальное? А? Вы этого не поняли?

Он смотрел на нее ненавидящими глазами.

- Да, вы правы, - сказала она медленно, почти спокойно. Действительно, как я могла изменить памяти Виталия Николаевича ради такого человека, как вы? - Она бессмысленно походила вдоль стола, потом вдоль буфета, затем сделала два шага к двери, но вернулась, села на стул, на котором сидела весь день, и заплакала. - Он бы никогда... никогда... никогда... - произнесла она сквозь слезы.

Вначале ее слезы не произвели на него никакого впечатления. Напротив. Он подумал, как хитро она защищается, как неожиданно она взяла себе в союзники Виталия Николаевича против него. Но вскоре ощутил ноющую боль в груди. Пожалуй, он впервые видел ее плачущей и, осознав это, понял, как она потрясена. Его пронзило чувство вины, и он подумал о том, что проявил торопливость и бесчувственность, сродни той торопливости и бесчувственности, которую проявила сама Ольга Петровна по отношению к Слепцову. Он сказал:

- Ладно, Оля, сейчас не время все это. Пока надо догнать этого человека и вернуть его.

- Да, да, - сказала она, быстро встала, вытерла глаза, взяла со стола сверток с едой, оставленный Слепцовым, завернула еду в плотный пакет и быстро, летящей своей походкой вышла в коридор, накинула шаль и вместе с мужем спустилась по лестнице в темный двор.

Во дворе никого не было. Накрапывал дождик.

- Товарищ Слепцов! - позвала Ольга Петровна.

Она метнулась по двору и вышла на улицу. Здесь остановилась и взглянула вправо и влево. В переулке не было ни души. Она бросилась влево и, торопливо говоря вслух: "Товарищ Слепцов, товарищ Слепцов", дошла, почти добежала до угла. Слепцова не было. Она постояла на углу и медленно пошла обратно.

Сначала она ни о чем не думала, потом в ее голове неторопливо прошел весь последний разговор со Слепцовым, в том числе ничего не значащие слова о сибиряках. Она подумала о том, что поскольку Слепцов сибиряк, то он мог бы жить в том городишке, где она жила первое время эвакуации. И если прав Винокуров насчет того, что однорукий солдат - благороднейший человек, то и там, в том городишке, тоже могли жить прекрасные люди; она

же считала их людьми ничтожными и скучными, обвиняла их в заскорузлости и бессердечии и мечтала от них поскорее уехать. Но, по чести говоря, почему они должны были ей сочувствовать и ею интересоваться, если она не сочувствовала им и не интересовалась ими, не входила и не пыталась войти в их жизнь? Ведь даже самым близким человеком, своим покойным мужем, она не интересовалась, даже его не понимала и не стремилась понять. Только появление Слепцова сегодня осветило ее жизнь ярким дневным светом, и при этом беспощадном свете многое стало выглядеть совсем иным.

Об этом думала Ольга Петровна, возвращаясь к воротам своего дома.

Ростислав Иванович тем временем тоже пересек улицу, прошелся по бульвару, вглядываясь в немногих прохожих, и тоже вернулся ни с чем. Они постояли вдвоем у ворот. Потом он взял ее за руку.

- Прости меня, - сказал он.

- Ты был прав, - сказала она. - Но пойми...

- Да, да, конечно...

- Я ведь...

- Я понимаю. Пойдем.

Они медленно пошли обратно к дому, медленно взобрались по лестнице к себе в квартиру. Когда они открыли дверь, Юра стоял в коридоре. Он ни о чем не спросил, только устремил тоскливый взгляд на дверь, словно ждал, что следом за ними войдет солдат. Но никто не вошел.

- Обедать пора, - сказала Ольга Петровна.

Они все трое побрели в столовую. Ольга Петровна сунула сверток с сибирской снедью за оконную занавеску. Затем она снова стала готовить к столу, а потом села на тот самый стул, где заплакала в первый раз, и здесь снова заплакала, словно именно этот стул располагал ее к слезам. Ростислав Иванович подошел к ней и стал говорить вполголоса разные успокоительные слова.

О Юре забыли. А он стоял возле окна и сурово смотрел на них. Слезы матери угнетали его, но не вызвали жалости. Он стоял бледный и строгий и давал себе слово, вернее, много слов, обещаний, клятв быть честным, добрым, искренним, ученым, или, как сказал тот солдат, - "советским".

Исполнит ли он свои клятвы? Исполнит, если окружающие помогут ему не нравоучениями, а собственным самоочищением от всякой скверны.

13

Что касается Андрея Слепцова, то Ольга Петровна и Ростислав Иванович не нашли его не потому, что он быстро покинул двор. Напротив, он, выйдя из дома, подошел к той скамеечке, где сидела утром старушка с вязаньем, и опустился на эту скамеечку. Тут он закрутил махорку и жадно закурил. Он ведь из уважения к семье Нечаевых ни разу не курил в их квартире и теперь глотал горький дым, как захлебнувшийся в воде глотает воздух.

Было темно. Накапывал дождик. Значит, прошел весь день - с рассвета до вечера. Андрей Слепцов подумал о том, как быстро, молниеносно прошел этот день и какой он в то же время насыщенный и длинный, как он, этот единственный день, сумел изменить многое в его жизни, осветить ее по-новому. При свете этого странного дня все стронулось с места,

перемешалось, осложнилось. Это был ясный, ровный, немигающий, беспощадный свет. И казалось, что любимые образы пропали в нем, как пропадают тени в резком свете.

Он услышал, как Ольга Петровна окликнула его, как она и ее муж вышли на улицу его искать. Он прижался к стене, боясь, что они его увидят. И спрятал сигарку в рукав, как солдаты делали на переднем крае, в виду противника. Он теперь не мог бы с ними разговаривать и даже на них смотреть.

Но вот они наконец вернулись и исчезли в доме, и Слепцов остался один на большом дворе. Он посидел некоторое время, потом, встал с места и пошел к воротам. Здесь он остановился и обернулся. Перед ним от самой земли до неба посверкивало, мерцало, горело больше сотни светлых квадратиков. Его глаза восприняли вначале это зрелище чисто механически, как нечто красивое, потом разум его усвоил, что это окна, а за ними люди. И он вспомнил, как капитан Нечаев однажды - дело было зимой, еще в обороне, говорил про эти окна, именно про эти самые, а не какие-либо другие. Нечаев говорил примерно так: родина - это не обязательно изба с березой или тополем, перелесок или поляна, как это по старой памяти пишут в стихах и прозе; родина - это также городская квартира из двух комнат, точно такая же, как четыре квартиры над ней и две под нею и пятьдесят во всем доме обыкновенное жилье с водопроводом, который урчит по утрам, и с телефоном, который звонит, когда кому-нибудь заблагорассудится вспомнить о тебе и набрать твой номер. Родина - это два окна среди точно таких же ста, ничем от остальных не отличающиеся, кроме того, что там твоя жена и твой ребенок. Это тоже "земля отчич и дедич", священная московская земля, хотя и приподнятая на два-три десятка метров. И, защищая свою большую родину, ты защищаешь и эту малую и готов отдать за нее жизнь.

Слепцов стал искать те два окна, о которых говорил Нечаев. И он вскоре нашел их, светившихся зеленым светом среди других, светившихся желтым, и зеленым также, и красноватым, и лиловым, и просто ярким без прикрас - огромное множество человеческих гнезд. И, вспомнив слова капитана Нечаева о его двух окнах, Слепцов замотал головой, как лошадь, которую мучают слепни, и больно закусил губу, чтобы не заплакать.

Но среди безысходности, овладевшей им в эти мгновения, его, как он вскоре заметил, не оставляло ощущение чего-то милого, теплого и нежного. Он не понимал, что именно оставило в нем такое ощущение. Он отметил, что оно было не только внутренним, душевным, но и чисто физическим. Это дало ему нити для дальнейших поисков, и довольно скоро его внимание сосредоточилось на руке: он чувствовал на ней приятную тяжесть, рука его была еще напряжена, словно держала нечто милое, теплое и нежное.

То была маленькая девочка с не по-младенчески разумным взглядом. Ах, эта маленькая девочка, этот человеческий детеныш, совсем еще крохотный, весь в будущем, весь как сосуд, способный вместить в себя все прекрасное. Вот, оказывается, что смягчало ожесточенное сердце, смиряло и облегчало его!

Вскоре Андрей Слепцов совладал с собой. Он крепко вытер лицо, подкинул повыше свой вещевой мешок и зашагал в обратный, уже знакомый путь к трем вокзалам. Предстояла, по-видимому, длинная бессонная ночь на вокзале, в очереди за билетом, и Слепцов ворчал себе под нос: "Хорошо, Андрей Слепцов, что ты успел подремать: утром на скамейке, потом - на мягком стуле". Он решил, что постарается взять билет на завтрашний вечерний поезд, чтобы в течение дня успеть посмотреть Москву.

1960